

О Распутине¹

— Восторг души — вот счастье человека! Слышь, друг, — верно тебе говорю, как загорится душа пламенем восторга — значит, поймал ты свое счастье, — скороговоркой говорил мне Григорий Ефимович, быстро ходя из угла в угол.

— А это кто? А это кто? — переходил он тут же от портрета к портрету, пристально всматриваясь в лица неизвестных ему людей и как бы желая заглянуть в душу, разгадать тех, кто был здесь перед ним на фотографиях.

Ишь ты, говоришь, — одна община, а это вождь их? Да? — указывал он на портрет выдающегося сектанта юга России, ныне умершего, и, действительно, лет 20–25 тому назад гремевшего среди духовных христиан.

— А сила-то не в нем? Нет, брат, он не от себя силу иметь! Нет, — он плакать, да страдать готов, да на подвиг звать, — разгадывал Распутин неизвестного ему человека, впиваясь в карточку своими интересными то потухающими, то вспыхивающими глазами, — нет, нет, сила не в нем, а вся сила в ней, — и он торжествующе попирапал пальцем карточку спутницы — по нашему жены, — этого сектантского вождя, портрет которой, этой просто одетой, в платочке, действительно, сильной, особенной женщины, правительницы большой сектантской общины, — был перед нами.

— А это кто? Скажи, кто это? — стремительно метнулся он к большому стенному портрету, откуда выделялось гордое, умное лицо старика.

— Ну и человек!.. Ах, ты, Боже мой! Самсон, друг ты мой, вот он Самсон-то где... Познакомь меня с ним? Кто это? Где он живет? Поедем сейчас к нему. Вот за кем народ полками идти должен. — И он торопливо зажигал соседнюю электрическую лампочку, желая лучше и пристально рассмотреть лицо этого поразившего его старика.

Я объяснил ему, что это Карл Маркс, ученый, давно уже умерший... Фамилия не произвела на него решительно никакого впечатления. Было совершенно очевидно, что слышал он ее впервые... Потужив и пожалев, что нельзя сейчас же побывать у хорошего человека и побеседовать с ним, он заходил, заволновался и вдруг заявил:

¹ Печатается по: День. 1914. 1 июля. № 176 (618). С. 2.

— Вот у эдакого-то души-то хватит на тысячи и миллионы людей, а мы что? И на себя припасти не можем. Все киснем, да хныкаем, да делать ничего не умеем. Тут нас бьют, тут колотят, здесь обворовывают... Эх-ма! — и он безнадежно махнул рукой.

Много приходилось мне видеть восторженных людей из народной среды, ищущих чего-то, мятущихся, «взыскующих града», куда-то стремящихся, что-то строящих и разрушающих, но Г. Е. Распутин был какой-то другой, на них не похожий. Не имея никакой политической точки зрения, он что-то стремился сделать. Для кого?

— Для народушка жить нужно, о нем помыслить, — любил говорить он.

И он смотрел на себя, пришельца из далекой Сибири, как на человека, на которого пал жребий идти и идти, куда-то все дальше и все выше, и представлять за «крестьянский мир честной»... Вот, в сущности, содержание всей его «политической» мысли, которую он только мог собрать и полусловами, полунамеками высказать, когда у него спрашивали, что он, собственно, хочет, к чему стремится... Отсюда такая воистину пламенная ненависть к малейшему призраку войны, к малейшему намеку, что вновь и вновь забряцает оружие на поле брани.

— Тебе хорошо говорить-то, — как-то разносил он при мне, полный действительного гнева, одну особу с большим положением, — тебя убьют там, похоронят под музыку, газеты во-о какие похвалы напишут, а вдове твоей сейчас тридцать тысяч пенсии, а детей твоих замуж за князей, за графов выдадут, а ты там посмотри: — три целковых в зубы, семеро детей по миру пошли, в кусочки побираться, землю взяли, хата раскрыта, слезы и горе, а жив остался, ноги тебе отхватили, — гуляй на руках по Невскому или на клюшках ковыляй, да слушай, как тебя всякий дворник честит: — ах ты такой, сякой сын, пошел отсюда вон! Марш в переулочек! — и он топал ногами, изображая гонителя-дворника. — Видал: вот японских-то героев как по Невскому пужают? А? Вот она война? Тебе что? Платочком помохаешь, когда поезд солдатиков повезет, корпию щипать будешь, пять платьев новых сошьешь: сегодня на завтрак, завтра на обед, тут на базар, а там еще куда, — и всё на пользу раненых, и всё в пользу семей убитых, — распекал он возразившую что-то было ему даму, — а ты вот посмотри, какой вой в деревнях стоял, как на войну-то брали мужей да сыновей... Вспомнишь, так вот сейчас аж воит, здесь тоскует и печет, — и он жал, точно стараясь вывернуть из груди свое сердце...

— Нет войны, не будет, не будет! — И он заходил, забегал, шатаясь по комнате, встряхивая насыпающимися на глаза длинными волосами,

тревожно смотря вверх вдруг потускневшими, белесоватыми закаты-вающимися глазами.

— Святость, святость напускаете на себя, а всё зря, притворно... Вон она у тебя, монашенька-то, стоит, смотри ручки сложила, глазки опустила, а сама злая-презлая, раздавит человека и не заметит... И все вы злые, — вдруг распоясался он, принимая какой-то боевой вид... Потом вдруг радостно и виновато улыбался.

— Ах, грех, грех... Ишь как я распалил-то себя... А ты знай понимай, мужик-то ведь всех вас кормит, а вы у него где? Вот тут, на горбушке сидите, — и он похлопывал себя по затылку... Смотри ты чего навесила на стенах-то? Одной стеной три года три деревни прокормить можно. А для чего тебе? Умрешь — все равно, что тебе, что мне — одну сажень дадут, больше не пола-га-ат-ца!.. Иль ты и за смертью оттягаешь землю-то больше и там расширишься?.. А?..

И вот я думаю, эта-та воодушевленная защита «крестьянской нужды», неожиданные раскрытия ужасов бюрократического хозяйничанья там на местах — припоминаю историю с сеном в последний голодный год, о котором подробно говорить сейчас неудобно, — всё это, а также некоторые несомненно привлекательные черты характера делали то, что заставляли многих, никогда не живших среди народа, не видевших ни его нужду, ни его горе, ни его сильных прямых сынов, искренно увлекаться Григорием Ефимовичем как бескорыстным ходатаем за «крестьянский мир честной».

Его весьма красочная биография, его превращение из сибирского «челдона», грубияна и отчаянного человека, ищущего и к чему-то стремящегося, совершенно переменившего свой образ жизни еще до начала своей славы, — еще тогда, когда он вел покаянный образ жизни, странствуя по России, конечно, еще более укрепляло почву для того искреннего увлечения им, которое мы, несомненно, наблюдаем среди известного круга петербургского общества...

Трагическая развязка, столь неожиданно постигшая его, конечно, удалит бесконечную злобу и зависть, кипевшую вокруг него столько лет, и заставит многих собрать материалы о все-таки удивительной жизни этого человека, так ярко оттенявшей нашу странную эпоху, полную противоречий и замысловатостей.

